



## НУРАЛИ КАБУЛ ДЕНЬ ПЕРВОГО СНЕГА

*Перевод А. Атакузиева*

Того, кто обидит Ойкор,  
родная земля не примет!

*Народная поговорка*

### Глава первая

— На совести моей кровь невинных рабов божьих. Выражение их лиц, когда они отдавали богу душу, не дает мне ночами покоя. Едва сомкну глаза — и появляются они передо мною, — говорил он моей бабушке неприятным, надтреснутым голосом.

Человек этот, приходившийся бабушке каким-то дальним родственником — в нашем кишлаке все звали его Суюнбай Лопоухий, — захаживал к нам время от времени, чаще всего по вечерам. И я становился невольным слушателем его рассказов о необычайных, захватывающих, но в то же время леденящих кровь происшествиях, приключившихся с ним в жизни. В доме у нас он разговаривал только с бабушкой. С родителями же моими, по его собственному выражению, у него

«кеклики не спелись». И вообще он считал бабушку единственным разумным существом в кишлаке, кто его понимает: все прочие же, пусть даже образованные, в глазах его были невеждами и тупицами. Помнится, он однажды заверял бабушку, что из нашего кишлака не вышло ни одного путного человека и впредь не выйдет.

А вот бабушка моя ладила со всеми. По ее мнению, люди есть люди и, хотя они не все одинаковы, ко всем нужно относиться одинаково. Ибо всякий человек — раб божий. Человеку никогда не быть ангелом: совершенен один всевышний. Однако, отчитывая меня за какие-либо проступки, она мне с укоризной говорила:

— Да будь же ты человеком!

— А я что, не человек? — однажды спросил я ее, искренне обидевшись.

— Ежели бы все рождались настоящими людьми, разве упрятал бы всевышний рай за семью пластами земли? Вот когда ты сможешь всем пожертвовать для людей, тогда и появится у тебя право называться человеком! Понял? — молвила мне бабушка, перестав вертеть веретено.

Не зная, что ответить, я умолк. А бабушка, уверившись, что слова ее возымели на меня действие, вновь с привычной ловкостью принялась за пряжу.

Подобные беседы между нами происходили обычно на небольшом плоском холмике Яссикире, возвышавшемся с восточной стороны нашего дома. Как только солнце клонилось к западу, бабушка поднималась на Яссикир, где всегда было светло, пока над горами не угасал последний луч, и принималась за пряжу. А я вертелся тут же, подле ее ног, и упрашивал рассказать какую-нибудь сказку или легенду. Мне особенно запомнились услышанные от нее предания из жизни пророка Магомета и его четырех халифов; я всегда слушал их с удовольствием, ибо каждый день они обрастали все новыми и новыми подробностями, которые я пропустил мимо ушей в прошлый раз или просто запомнила сама бабушка.

Семья наша обитала в небольшом домике с двором, окруженным изгородью; мы с бабушкой занимали крохотную пристройку с отдельным входом, обращенным к саю, протекавшему неподалеку. День и ночь до нас доносился ровный шум его бурливой воды. Бабушка нянчилась со мною со дня моего рождения. Баюкала меня по ночам, накрывала одеяльцем, если я раскрывался во

сне. Я любил ее, как и маму, а может, и еще больше. Она в шутку говорила, что я — ее сынок, а моя сестричка и братишки — это дети папы с мамой.

Как-то раз, когда все в нашем доме уже готовились ко сну, выцветшая на солнце двустворчатая калитка со скрипом отворилась.

— Суюнбая опять нелегкая принесла,— проворчала бабушка, припустив фитиль в стоявшей в нише керосиновой лампе, и закуталась в шерстяной платок.— Ни одна живая душа, кроме него, не шляется в столь поздний час. Словно сыч, непутевый, оставляет гнездо, когда все уже спят.

Суюнбай вошел во двор и поздоровался с папой, который только что закончил поливку огорода и помыл в арыке ноги.

— Присаживайтесь, Суюнбай, поешьте чего-нибудь, чайку выпейте,— предложил папа из вежливости, приглашая его на сури, стоявшую посреди двора.

— Сыт я, а чаю полью. Но только попрошу у тети,— буркнул он, указав рукой на нашу каморку.

— Ладно, как знаете,— сказал папа не слишком настаивая.

Заложив за поясницу пастуший посох, с которым никогда не расставался, Суюнбай двинулся в нашу сторону.

— Ас-салом алейку-у-ум! — поздоровался он с бабушкой, по обыкновению растягивая слова.

— А, Суюнбайджан, проходи! — приветливо сказала бабушка, бросив на пол овечью шкуру возле железной печки, стоявшей и зимой и летом на одном и том же месте. Она всегда Суюнбая усаживала там, потому что он никогда не снимал сапог.

— Вот, спустился со своих гор в кишлак. Дай, думаю, проведаю вас,—сказал он, устраиваясь поудобнее на шкуре.

— Как твои дела, здоров ли? — осведомилась бабушка.

— Отара наша в Кошкоре, волки, чтоб им подохнуть, совсем житья не дают. Недавно застрелил двух, так Халбек-егерь акт состряпал и в милицию передал. Теперь, оказывается, даже волков стрелять нельзя. Надо ж, чего выдумали, грамотен. Ну, явились милиционеры. Разругался я с ними и выпроводил вон,—сказал он, сняв заношенную тубетейку, и с наслаждением почесал голову.

— Да ты, должно быть, не волков, а сайгака либо архара застрелил! А не то зачем бы ему в милицию-то писать? Ежели же ты милицию бранил, почитай, деньки твои сочтены! — проговорила бабушка, поглядев на него так, словно сказать желала: дескать, от тебя всего можно ожидать.

— Если разозлят меня, то могу за одну ночь все живое на Ойкоре истребить! И чего этот Халбек становится мне поперек дороги? Или ему жить надоело? В один прекрасный денек сожрут медведи его разложившийся труп, — зло сказал он. — Пусть спасибо скажет, что я не стреляю дичи, как прежде! Надоедает баранина! Подумаешь, велика важность, если стрельну всего раз в неделю сайгака там или архара. Да и самому-то разве все мне съесть? Беру себе маленько, а остальное мясо раздаю лесорубам или пастухам. От этого поубавится ли зверья на Ойкоре? А ежели и поубавится, ему-то что за дело? Все равно сайгаков ни за что не приручить, какая же от них польза? Начальнички-то Халбековы приезжают — стреляют сколько душе угодно. Собственными глазами видал! А этот подлец выслуживался перед ними, водил их в те места, где самая охота на сайгаков. А однажды, перед их приездом, он уложил двух архаров. Когда те, изрядно поднабрввшись, стали охотиться, приволок им туши: мол, вот ваша добыча, почтеннейшие. Подхалим! Хотел я тогда осрамить его, да подумал: стоит ли связываться!

— Обижать все живое — это болезнь твоя с пеленок! Родители твои, царство им небесное, так и померли, не дождавшись от тебя радости! — попрекнула его бабушка. — Да ты ведь и сам отец пятерых детей, а творишь дела неслыханные! Ты, сказывают, медведей-то убиваешь только затем, чтоб желчь их продать! Еще скажи спасибо, что людям не про все твои делишки ведомо. Не то спустили бы с тебя шкуру!

— Эг-ге! Где тот удалец, который спустил бы с меня шкуру? Люди про все знают... Только никому не хочется иметь лишние хлопоты на свою голову. Чтоб дьяволом быть, тоже умишко нужен, иначе помрешь раньше времени. Вы меня не браните понапрасну, тетя. Я не такой человек, чтоб за деньги веру и совесть продавать. Когда Пирим-коротышка из Джарбулака явился ко мне и умолял достать для него медвежьей желчи, я ему сам принес и не взял ни гроша. Сами скажите, разве я хоть раз нажился за чей-то счет? Наговаривают

на меня... К кому идет пастух, оставшийся без пропитания? Ко мне. Потому что знает: я всегда накормлю досыта.

Заметив, что и я слушаю этот странный разговор, Суюнбай жестом указал мне на чайник: мол, чаю принеси. Я тихонько взял чайник и вышел во двор.

На кишлак опустилась густая темнота. Привязанная к деревянному колу корова жевала жвачку, а запертые в загоне у изгороди козы, чем-то обеспокоенные, гонялись друг за дружкой с противным блеянием. Мама все еще возилась у тандыра, а братишка, разметавшись на сури, давно уже видел сладкие сны.

Когда я вернулся к нашей двери с заваренным чаем, разговор между бабушкой и Лопоухим продолжался. Я остановился и прислушался.

— Ногти от мяса не отделить. Ты ведь единственная память о двоюродном брате моем. Бедняга говорил мне в предсмертный час: «Вы уж присмотрите за Суюнбаем, кроме вас, никто о нем не позаботится». Вот я и хочу, чтоб ты стал хорошим человеком, настоящим отцом своих детей,— говорила бабушка дрожащим голосом.

— Потому-то я только к вам и прихожу за советом. Вы же знаете, я ни с кем, кроме вас, в кишлаке не вожусь. Вы единственный мудрый человек тут,— пробормотал Суюнбай.

— Отбившуюся от стада овцу волк съедает. Если даже от своей земли оторвешься, от людей не отрываешься. Горе человеческое человек лечит, гроб человека человек несет...

— А-а, когда помрешь, все едино. Пусть похоронят, пусть изжарят — все едино.

— Не богохульствуй! Доброе намерение — половина богатства! Лучше выпрашивал бы у всевышнего хлеба насущного, счастья детям! Язык человеку не для того дан, чтоб молоть чепуху!..

Бабушкины слова, видимо, проняли Суюнбая, и он умолк. В этот момент я тихонько отворил дверь и вошел в комнату. Зная, что Суюнбай всегда предпочитает сам наливать себе чай, я поставил чайник перед ним.

Он вообще никогда ничего не ел и не пил у чужих. Как-то раз бабушка спросила его, отчего это он так делает, ведь люди всякое думают, обижаются. Он ответил, нахмурившись: «Разве теперь можно доверять кому? А что, как подсыпят снадобье какое? Чего сейчас в достатке, так это всяких лекарств...»

Суюнбай принялся услаждать себя чаем, а я тихонько лег в постель и накрылся одеялом.

Вдруг лицо его посерело, бегающие маленькие глазки сузились.

— Двух людей загубил я ни за что ни про что!.. Кровь их не дает мне покоя! — глухо пробормотал он и глубоко вздохнул.

— Оставь все это! Не вороши сгоревшие угли! — проговорила бабушка.

— Если все таить в себе, недолго и с ума спятить. Особенно ежели содеянное тобою — злодейство! Такая тоска — места себе найти не могу. Кажется, даже камни оживают и хотят раздавить... Вот и прихожу к вам... Ах, эти лица... И глаза. Глаза, молящие о пощаде...

— Да неужто ты тогда греха не убоялся? — спросила бабушка дрожащим голосом.

— Если уж я за всю жизнь, сколько помню себя, не сделал ни одного благого дела, где там мне было испугаться греха.

— Ты и сейчас не отличаешь доброго дела от греха. Тебе что люди, что бараны, что деревья — все одно, — сердито заметила бабушка.

— Может, и так. Сейчас никому ни до кого нет дела. И я живу на земле никому не нужный. Словно меня уже нет на земле. Ведь человек помирает не тогда, когда никому не нужен, когда всем безразлично, жив он или нет. От мысли этой хочется иной раз броситься в пропасть, да боюсь, дух из меня разом не выйдет, мучений боюсь.

— Оставь никчемные разговоры! Только детей сиротами сделаешь!

Затем, не обращая внимания на то, что бабушка не желает его больше слушать, он принялся рассказывать о своем ужасном злодеянии. При этом невозможно было смотреть ему в глаза — холодные, сузившиеся на посеревшем, словно у мертвеца, лице. Когда случайно я встретился с ним взглядом, у меня мурашки побежали по телу и я от страха натянул на глаза одеяло.

— Истинную цену мне определил пастух Саидмурад, — продолжал свой жуткий рассказ Суюнбай. — Однажды, оставив отару в Арчалисае, он со своим младшим братом Абдумурадом поднялся на вершину Каршиучган, где я пас стадо. Сама смерть их туда пригнала, иначе какого дьявола карабкались они две версты до Каршиучгана! Ведь знали, что я, богом проклятый

человек, духа человеческого не выношу! Сперва они сидели и оживленно болтали между собой. Я же не вымолвил ни слова. Все, о чем бы они ни говорили, не нравилось мне. Да я уже и не помню, о чем они тогда вели беседу. Надоело мне слушать их болтовню, и я им сказал:

— Эй, Саидмурад! Чего ты словно сыч разухался, делать, что ли, нечего? А ну, проваливай отсюда! Говорят, тысяча слов уже человека губит, а ты и от десяти тысяч не подохнешь!

Задело Саидмурада, видать, что я оскорбил его перед братишкой... А был бы один, не пикнул бы, хоть покототи его, я же знаю.

— Дьявол ты, род людской позорящий! Когда вижу тебя, веру в человека теряю! Как был подлецом, так им и остался, и как только земля тебя носит? Вставай, Абдумурад, пошли отсюда! — говорит он сквозь зубы, поднимаясь с места.

Я промолчал. Да и не любил я лишней болтовни. Человек со здравым умом много не говорит. В руках у меня была тяжелая палка, я и огрел его ею по шее. Он пошатнулся и стал медленно валиться, но тут его подхватил брат. Осторожно положил его на землю. А я стоял и смотрел в каком-то оцепенении. Из рта Саидмурада кровь пошла, а он все на меня пялится. Лицо его я до сих пор вижу... Абдумурад сел на землю около брата и заплакал. А меня вдруг охватил ужас: вот пойдет он сейчас, расскажет людям, и они забросают меня камнями. Недолго думая, я и его ударил тоже. Он повалился на землю как куль... Пришел я в себя и чувствую, будто тело мое избавилось от жуткого недуга. До сих пор не могу уразуметь, что на меня тогда нашло. Ведь я же должен был трепетать от страха, ведь убить сразу двоих — не шуточки. Но в тот момент я ни о чем таком не думал. Тогда я вообще не желал ни о чем думать. Я просто сметал с пути все, что мешало мне. А размышления лишь доставляли лишнее беспокойство.

Правда, в тот момент на горе я некоторое время думал, что теперь делать с телами пастухов. Вокруг ни души, спешить, конечно, некуда. Я вспомнил о пещере Имама в Кизилташе, где обитали медведи. Солнце уже село, и горы окутались сумерками. В такое время обычно медведи вылезали из пещеры в поисках добычи. Я не отважился идти туда на ночь глядя. Лишь оттащил тела туда поближе, откуда удобно добраться до пе-

щеры. В голове мелькнула радостная мысль: может, медведи сами набредут на них ночью и уташат в логово?

Ночью в горах прошел сильный дождь и смыл на камнях кровь...

Утром я, к огромному своему огорчению, нашел тела на том же месте, где оставил. Опасаясь медведей, я вынул из-за пазухи обрез и засунул за пояс. Внимательно осмотрелся и потащил сначала одно тело, потом другое. На макушке горы была расщелина, похожая на колодец. Я и сбросил тела в нее. Оттуда послышался рев потревоженных медведей. В страхе я пустился наутек... Знаете, тетя, меня на Ойкоре всякая живая тварь ненавидит,—неожиданно со вздохом заключил Суюнбай.

— Оставь, откуда зверям знать, каков ты? — провормотала бабушка и тихонько вздохнула.

— Нет, тетя, вы не знаете,—не унимался Суюнбай.—Зверь еще как разбирается в людях. Расскажу-ка я вам, что случилось потом. Я думал, медведи закопают трупы в землю дня на три-четыре, как это обычно делают, а потом сожрут. Насмотрелся я на такое во время войны. Скрывался я тогда еще с тремя дезертирами в пещере в Говкутане. В те времена и горы опустели; бывало, не встретишь никого, кроме подыхающего с голоду волка. Пришлось нам тогда и волчатины отведать. А как-то у подножия Кизилташа прирезали мы двух медвежат и целую неделю готовили из них тандыркебаб. Знаете, медвежатина на вкус напоминает конину. Так вот, ежели помните, в те годы пропал невесть где сын дяди Сулеймана, Сайфиддин.

— Да-да, припоминаю, конечно,—сказала бабушка.

— Пошел он в горы за дровами, а на него напали медведи и утащили в пещеру Имама. Медведей было много, мы все видели, но не могли ничем помочь ему.

— Так что же вы не рассказали его родителям? Ведь сколько времени, бедняги, все искали сына, — сердито заметила бабушка.

— А ежели бы и сказали, нам бы не поверили. А, чего доброго, еще свалили бы вину на нас!.. А вот послушайте, еще какой случай был!..

— Чтоб у тебя язык отсох! От каждого слова твоего исходит запах смерти! Довольно, замолчи! — осердилась бабушка.

— Как бы то ни было, а меня в горах все твари знают. Помнят, сколько загубил я ихнего брата. Боюсь,



в один из моих черных дней разорвут они меня на куски.

— Ну, довольно, Суюнбайджан! Сжался ты надо мной, ради бога! — взмолилась бабушка.

— Позвольте, я все-таки доскажу о том случае... В тот самый день я глаз не сводил с пещеры Имама. И вдруг что вижу? Медведи вытащили тела пастухов на ровную площадку перед пещерой. Это со склона Каршиучгана увидел и пастух Абдусалам, который разыскивал Саидмурада с Абдумурадом и собирал их разбредшуюся отару. Завопил он во всю мочь и натравил на медведей собак. Те, огрызаясь и сердито рыча, отступили в пещеру. А мне казалось, они со злостью в мою сторону поглядывают. Ежели могли бы говорить, указали бы на меня: «Не мы убили пастухов, а он!»

«Слава всевышнему, что не дал вам речи!» — думаю про себя и радуюсь.

Абдусалам наконец собрал отару и пришел ко мне. «Беда-то какая, пастухов моих медведи убили!» — говорит.

С той поры весь кишлак и возненавидел медведей.

Бабушка стала стелить себе постель, давая понять ему, что не желает больше его слушать. А ему наплевать, слушают его или нет. С выпученными глазами продолжает рассказывать. Бабушка была единственным человеком, кто осмеливался бранить его, но иногда и она, страшась этих холодных глаз, не могла вымолвить ни слова. А я в такие минуты просто не находил себе места от страха. Чтобы не встретиться взглядом с Суюнбаем, с головой залезал под одеяло. Но едва закрывал глаза, из темноты надвигались на меня его страшные глаза. И я поспешно опять высовывал голову. Не оставалось ничего другого, как слушать.

— Однако мне все время казалось, что пастуху Абдусаламу известно, что в тот день, когда пропали Абдумурад с Саидмурадом, поблизости никого, кроме меня, не было. «Догадывается, что их гибель — моих рук дело, да помалкивает, опасаясь за свою шкуру, — думал я. — И сказал, что пастухов загрызли медведи, только для того, чтобы меня успокоить...»

— Голова у меня разболелась из-за тебя, Суюнбайджан! Ну, довольно, время позднее, того и гляди рассветет. Мучаешь ты меня, старуху. Я ведь одной ногой в могиле и не желаю быть свидетельницей твоих темных дел. Если всегда только такие разговоры и будешь

вести, лучше вовсе не приходи! — в сердцах зачастила бабушка, вытирая слезы рукавами.

Лицо Суюнбая потемнело, и он замолк. Морщины на лбу углубились от напряжения. Он уставился взглядом в пол.

— Я ведь болью своею делюсь. В горах по месяцам слова ни с кем не вымолвлю. А говорю с вами — получаю удовольствие... Других чем дольше не вижу, тем спокойнее на душе...

Бабушка, собираясь лечь, расправила постель. А Лопухий взял в руки посох, холодно попрощался и направился к двери. Когда я поднял голову и глянул ему вслед, то увидел лишь два большущих, величиной с блюдце, оттопыренных уха. Как только дверь за ним затворилась, бабушка облегченно вздохнула.

— Бедняга. Покрыл себя позором, а теперь мается. Как сбегал во время войны с несколькими мерзавцами в горы — с тех пор и пошло. Стоит человеку однажды ославить себя, будет всю жизнь ходить с запятнанным именем. О горе. Как бы то ни было, хоть бы детям своим отцом был,— бормотала себе под нос бабушка.

Я лежал затаив дыхание. Не хотелось мне, чтобы он еще приходил в наш дом. Да и бабушка не знала, как избавиться от него. Она долго еще лежала без сна, шепча молитвы.

## Глава вторая

Услышав, что часть жителей нашего кишлака переезжает в Мирзачуль осваивать новые земли, а папу назначили старшим над ними, я очень обрадовался. Мне тут же пришла мысль: «Туда-то Лопухий поехать не сможет». Папа съездил на новое место и вернулся полный удивительных рассказов про степь. Мне даже приснился сон о нашем переезде и о том, что ожидает меня в степи. Я смастерил себе флажок из кумача, чтобы ехать с ним в машине, которая повезет нас в степь. Увидев его, сестренка моя Айхан раскапризничалась: «Я тоже хочу такой». Пришлось сделать и ей.

Теперь с утра до вечера ожидал я с нетерпением большой голубой грузовик, который иногда привозил нам сено. А однажды к нашему дому подъехал самосвал. Когда кузов его вздыбился и из него посыпалась пшеница, бабушка воскликнула с изумлением:

— Гляди-ка! Сама груз выгружает, а! Вот сила божья!

— Папа,—спросил я тогда у отца,— разве бог сотворил машину?

— Это бабушка так считает, что все на свете бог сотворил. На самом-то деле и машины, и самолеты, и многое другое люди сотворили. Только, гляди, бабушке не скажи об этом, не то обидится,—шепнул мне с улыбкой папа.

В доме нашем известие о предстоящем переезде обрадовало всех. Всех, кроме бабушки. Как только новость эта дошла до нее, она опечалилась, глаза ее потускнели. Тем временем сборы шли полным ходом. Папа говорил, что в нашем кишлаке работа по большей части сезонная, люди из-за этого зря теряют драгоценное время. А от вынужденного безделья немало жалобщиков и склочников. На новом месте работы будет невпроворот. Когда люди освоят степь, в горах построят водохранилища, чтобы напоить водой горные пастбища и богару\*. Тогда-то и можно будет вернуться в родные края.

Наконец папа объявил: мы едем в Мирзачуль завтра. А бабушка вдруг сказала:

— Не могу я поехать в степь, сынок!

— Отчего же, матушка? Если мы оставим вас здесь, то кто ж будет главенствовать в нашей семье? Да и не будет худо, если подышите немножко степным воздухом,—сказал папа.

— Покойному отцу твоему обещала, что схоронят меня непременно подле него, на родном Ойкоре,—бабушка была не в силах сдержать слез.

— О чем это вы думаете, матушка! Бог даст, до ста лет жить будете!

— Оставь меня здесь, сынок. За домом присматривать буду. А вы станете время от времени меня проведывать. Как же ты можешь бросить безлюдным отчий дом? Если можно, оставь со мной и Данабая, а если нет...

— Ни о чем не беспокойтесь! Как скажете, так и поступим. Мы и соринки не передвинем с места, не посоветовавшись с вами! — проговорил папа, пытаясь успокоить ее.

---

\* Богара — предгорье, засеваемое яровой пшеницей.

— Пусть дети твои принесут тебе радость, сынок! — растроганно прошептала бабушка.

Я тоже был согласен с папой. Случайно оказавшись у окна, я слышал весь их разговор. Мне отчего-то так стало жалко бабушку, что захотелось кинуться к ней, обнять и сказать: «Бабушка, любимая наша бабушка, не горюй, я никогда не брошу тебя одну, я останусь с тобой, мы вместе будем ухаживать за садом, и ты будешь рассказывать мне новые сказки на холмике Яссикире!»

Между тем столь неожиданное предложение бабушки привело папу в замешательство. Он пошел посоветоваться с мамой, которая уже увязывала узлы. Через некоторое время ко мне подбежала Айхан и сказала, что меня зовет папа.

Папа стоял посреди комнаты и не знал, как начать: ведь я каждый день приставал к нему с расспросами, когда же мы наконец поедem в степь, спешил увидеть, какая она. Мне хотелось помочь ему, самому сказать, что я согласен остаться с бабушкой, но в горле у меня застрял ком, и я молчал.

— Данабай уже не маленький, все понимает. Он не послушается вас, — нарушила тишину мама, желая облегчить папе его нелегкую задачу.

— В самом деле, говорят ведь, что человек мужает, когда становится кому-то поддержкой, — начал папа издаleка.

— Бабушка остается в кишлаке и просит, чтобы ты остался с ней, Данабай, — не выдержала мама.

— Ладно, — согласился я без лишних слов.

Обрадовавшись, что все так легко обернулось, папа с мамой наперебой стали хвалить меня.

— Побудешь здесь до конца учебного года, а там подумаем, как быть дальше. Когда приеду навестить вас, заеду в Джизак и куплю тебе велосипед, — пообещал папа.

— Что ж я без тебя делать-то буду? Кто же будет присматривать за сестричкой? — льстила мне мама.

Я ничего не сказал. Когда бабушка услышала, что я согласился остаться с ней, то очень обрадовалась. А мне почему-то захотелось плакать.

На следующий день рано утром к нашему дому подъехал голубой грузовик, который я ждал с таким нетерпением. Все сразу засуетились, стали грузить вещи. Я тоже помогал, как мог. Наконец все было готово к

отъезду. Мама обняла меня, расцеловала, а отец крепко пожал мне руку. Мама с сестренкой сели в кабину рядом с шофером, а папа залез в кузов, где лежали вещи. Заурчал мотор, машина тронулась, папа поднялся и, держась одной рукой за борт, второй махал нам с бабушкой. Мы стояли, тоже махали руками им вслед до тех пор, пока от машины осталось лишь облако пыли. Бабушка смахнула рукавом слезу. У меня тоже глаза повлажнели. Меня охватило противоречивое чувство: я ведь так мечтал об этой минуте, так хотел поехать в степь, но разве я мог бросить бабушку одну. Да, мы с ней очень любили друг друга. По словам папы, бабушка сроду не сказала никому ни одного грубого слова. Даже если я или сестренка озорничали, она, журия нас, всегда добавляла: «Дай бог вам благополучия».

— Бабушка, а почему ты никогда никого не braniшь? — спросил я ее однажды.

— Эх, сыночек! К чему приумножать грехи свои. Хватит и тех, что совершила, пока набралась ума-разума. У всякого человека на плечах сидит по ангелу. Ангел на плече — грехи. Самый страшный грех на свете — причинять боль другому человеку. Сказывают, будто господь вначале сотворил человека бессмертным. Думал он, люди на земле будут жить в мире и спокойствии. Но и бог ошибся. Люди размножились, заселили всю землю и стали ссориться, убивать друг дружку, обижать прочие божьи твари и растения. Вот потому бог и решил сделать людей смертными. А они все равно продолжают творить зло. Ежели не одумаются, миру придет конец, — проговорила бабушка, задумчиво глядя вдаль.

Бабушка говорила, что от лживого человека всего можно ожидать. Поэтому я всегда старался говорить правду. Если человек солжет или оскорбит кого-то, ангел на левом плече запишет этот грех. Совершив дурной поступок нечаянно, немедленно следует сотворить благое дело, чтобы перекрыть грех; тогда ангел его зачеркнет. Но как бы ни жил человек, обыкновенным рождается он, обыкновенным и помирает...

Эти бабушкины слова вспомнились мне, когда через несколько дней после переезда родителей мы с ребятами таскали дыни на бахче у старенькой Заргуль-момы\*. Мне вовсе не хотелось участвовать в этом деле. Да Рад-

---

\* М о м а — бабушка.

жаб-коротышка уговорил: «Ну какое это воровство? Стоит только попросить хандаляков\* у Заргуль-момы, она и сама нам даст. Только это неинтересно. Ты просто посиди немного с ней, поговори. Она ведь скучает, не знает, с кем бы словом перемолвиться».

Когда я подошел к бахче, в нос ударил приятный аромат спелых хандаляков вперемешку с едким запахом полыни. На западной окраине бахчи стоял шалаш, из которого доносилось негромкое пение. Это пела Заргуль-мома, сидя со своей пряжей, помогавшей старухе коротать одиночество. Я остановился возле шалаша, очарованный ее проникновенным пением, и совсем забыл, зачем пришел. А когда вспомнил, что пришел-то я к ней с дурным намерением, то невольно покраснел. Но дело сделано, и пути к отступлению не было. Чтобы дать знать о себе, я кашлянул.

— Кто та-а-ам? — протяжным голосом спросила Заргуль-мома, не вылезая из шалаша.

— Да-да-набай, — отозвался я, начав вдруг заикаться.

— А, это ты, Данабай! Заходи! Здорова ли бабушка? Прежде она частенько навещала меня, а теперь что-то не показывается! — сказала Заргуль-мома, жестом приглашая присесть рядом с ней на край овечьей шкуры. — Небось скучаете по своим? А тебя, стало быть, с бабушкой оставили? Да и нечего тебе делать в этой пересохшей степи. Сказывают, там в тугаях полно шакалов, воют, как бешеные, по ночам людям спать не дают. Удивилась я, когда твои сломя голову кинулись в степь. Только увидишь, осточертеет она им, воротятся назад.

Я сидел молча.

— А скажи-ка, после отъезда родителей Лопоухий, наверно, зачастил к вам? — спросила вдруг Заргуль-мома, свивая нить из трепаной шерсти.

— Да нет, — солгал я, не поднимая глаз от земли.

— Передай бабушке, чтоб она поменьше пускала его в дом! От него одни только несчастья!

При одной мысли о нем у меня мурашки по телу побежали. Хотел было я сказать Заргуль-мومه, что и сам ненавижу Суюнбая, да не сказал: ведь ей ничего не стоило намекнуть ему при встрече, — мол, брось, Суюнбай-джан, не ходи больше к тетушке Шахзаде, там

---

\* Хандаляк — сорт скороспелой дыни.

тебя не любят. Была у Заргуль-момы привычка хвалить человека в глаза, а за глаза хулить.

Только все и в самом деле было так, как считала Заргуль-мома.

На второй же день после того, как родители мои переехали в степь, зашел к нам Суюнбай, держа на плече посох, с которым не расставался. Впервые видел я на его лице довольную ухмылку. Когда он вошел во двор, бабушка дубила шкуру барана, зарезанного по случаю папиного отъезда.

— А, Суюнбайджан, проходи, — как обычно, приветливо встретила его бабушка, однако не взглянула в его сторону.

— Ну, что, уехали? — спросил он, посмеиваясь.

— Уехали. А тебе что за радость?

— Много народу поуждало, вот и захирел наш кишлак. Сбивали, сбивали друг дружку с пути, друг другу в глаза глядеть стыдно, вот и разбегаются. А то ли еще будет!..

— Не говори так, Суюнбайджан. Они по велению собственной совести подались туда. А ты кроме того, что оскверняешь наши райские места, еще и злословишь о людях. Стыдись!

— Пусть хоть все переезжают! Мне-то что. Только я вам говорю, вовсе не по своей воле они переехали. Ведь их государство насильно туда переселило. Это те, кто прежде друг на дружку жалобы строчили, написали от имени жителей нескольких кишлаков: дескать, поедем работать в степь. Из-за них теперь целый кишлак снялся с насиженного места.

— Вздор несешь! Не хули людей, а то останешься в одиночестве, словно сыч. Помни, умереть среди людей — тоже благо. Кто же иначе понесет гроб твой?

— Кто желает смерти, тот не умирает. Умирают обычно люди, о которых и не подумаешь, что они могут умереть. А я долго буду жить, ибо мне жизнь надоела...

Бабушка промолчала. Лопоухий сидел и чистил кончик палочки для понукания ослов о голенище сапога. Бабушка продолжала молчать, и Суюнбай, заметив ее холодность, собрался уходить.

— Ладно, тетя, пойду я. Будет время, загляну еще.

— Ступай, с миром, хорошо относись к детям своим. Эй, Суюнбай, погоди. Слыхала я, что ты в прошлое

воскресенье жену побил. С плачем, сказывают, на улице выбежала. До каких пор будешь колотить жену? — спросила бабушка, сердито взглянув на него.

— Вы так говорите, тетя, будто ваш покойный Тиловберды никогда вас пальчиком не тронул, — усмехнулся Суюнбай. — На то и муж, чтоб учить жену уморазуму.

— Тиловберды, да пребудет он в раю, к твоему сведению, ни разу руки на меня не поднял. А если бывала я в чем-то виновата, только ущипнет за нос и скажет: «Тысяча благодарностей богу за то, что он дал тебе нос», — да пребудет в радости душа его.

— Я вам скажу, тетя, какая бы ни была жена, умница ли, дура ли, все равно муж — хозяин. И должен время от времени напоминать об этом. Если б от тумачков умирали, то в нашем кишлаке давно не осталось бы ни одной женщины.

— Да сжался ты, в конце концов, над бедняжкой. Что она видела в жизни, выйдя за тебя? Да ничего, кроме горестей. Она ведь тоже человек. Вспомни, никто не хотел отдавать за тебя дочь, и лишь из сострадания к тебе я упростила тогда дядю этой сиротки. Теперь-то хоть, на старости лет, устыдись. Хватит с нее и тех побоев, что терпела от тебя в молодости. А будешь ее бить, бедняжку, гляди, как бы руки твои не отсохли в один прекрасный день. Людей не боишься, бойся хоть бога.

Он кивнул, как бы сказав «ладно», взял в руку посох и вышел со двора...

Вот об этом и напомнили мне слова Заргуль-момы.

— Заговорила я, и из головы вылетело, надобно бы тебя дынькой угостить, — спохватилась Заргуль-мома и, положив веретено на овечью шкуру, поднялась с места.

— Спасибо, мне не хочется. Просто бабушка сказала, пойди проведай бабушку Заргуль, здорова ли она, вот я и пришел, — соврал я, покраснев до ушей.

— Дай бог здоровья твоей бабушке. Погоди, дам-ка я тебе два хандаляка: один тебе, другой бабушке. В этом году хандаляки уродились на славу, на весь кишлак хватит.

Заргуль-мома зашла на бахчу и долго ходила между грядками, раздвигая ботву; наконец выбрала два спелых хандаляка и сунула мне под мышки.



Презирая себя, я шел и ругал на чем свет стоит Раджаба-коротышку, который подослал меня к Заргульмоме, а сам тем временем воровал дыни. А добрая старушка такому негодяю, как я, еще и дала два хандаляка.

Когда я подошел к условленному месту, ребята сидели на траве и с наслаждением уплетали хандаляки. Они уже почти разделались с добычей: осталось всего три-четыре дыньки.

— Эге! Да здравствует поистине мудрый Данабай\*! Глядите, он заодно и свою долю прихватил! Наворачивайте, не стесняйтесь! — воскликнул Раджаб-коротышка, с жадностью, до самой кожуры вгрызаясь в кусок дыни. Другой рукой он собирался разбить о колено еще одну дыню.

— Стой, Раджаб! Не надо! Возьми лучше мой хандаляк! — сказал я.

Ребята с изумлением уставились на меня.

— Мы поступили дурно, — проговорил я срывающимся от волнения голосом. — Мы совершили грех. Теперь мы все попадем в ад. Надо вернуть украденные дыни Заргульмоме и попросить у нее прощения. Этим, конечно, мы греха еще не смоем. Мы должны совершить еще какое-нибудь доброе дело!

Ребята вытаращили на меня глаза. Только наглец Раджаб, не обращая никакого внимания, продолжал, сопя, уплетать свой кусок.

— Я же тебе говорю, обжора! — закричал я и выбил у него из рук кусок дыни.

Он вскочил и хотел было наброситься на меня, но ребята тоже поднялись и встали между нами. Почувствовав, что все против него, он опять уселся на землю и злость свою выместил на оставшихся дынях...

Держа под мышкой хандаляк, который Заргульмома передала для бабушки, я отправился домой. А по дороге все думал, что бы совершить такое, чтоб смыть с себя грех. Когда я принес дыню домой, бабушка очень обрадовалась. Она нарезала дыню ломтиками, и мы съели ее с хлебом. Потом бабушка принялась за пряжу. Вскоре она утомилась и прилегла на сури под тенью густого карагача. Я на цыпочках вошел в дом, открыл большой бабушкин сундук и вынул пару почти новых, всего несколько раз одеванных папиных сапог.

---

\* Дана — мудрый.

Не долго думая, я отправился к одинокому Ербеку-бобо. Иногда бабушка посылала меня к нему или другим, похожим на Ербека-бобо, неимущим односельчанам, передать им что-нибудь из приготовленной ею еды или кое-какую одежду. Чаше она так поступала во время праздников, курбан-хаита или уразы. Но ведь не обязательно, чтобы сделать человеку приятное, ожидать праздника.

— Вот, бабушка вам прислала, дедушка Ербек, надевайте! — сказал я, протягивая сапоги старику.

Ербек-бобо, который зарабатывал себе на жизнь тем, что шил упряжь и обтягивал кожей седла для лошадей и ослов, обрадовался такому подношению, как мальчишка, и тут же примерил сапоги. Они пришлись ему в самую пору. Глаза его увлажнились, я в смущении отвел взгляд.

— Мои чарыки\* как раз износились, в горы за дровами сходить не в чем. А ежели сейчас не запастись несколькими вязанками, то мерзнуть мне всю зиму. Не добраться мне до Ойкора, когда снег выпадет! — проговорил Ербек-бобо и посмотрел в сторону гор, на вершинах которых уже белел снег.

Стариковской шаркающей походкой пошел он в дом и вынес пригоршню хранившихся от праздника до праздника конфет в выцветших обертках. Я взял их, не желая обидеть старика. И мне подумалось, что я смыл с себя сегодняшний грех...

Народу в нашем кишлаке заметно поубавилось. По вечерам улицы становились пустынными. Остававшиеся еще в кишлаке ребята разбрелись по домам, и воцарялась тишина. Слышалось только клокотанье Каттасая.

Я тоже, почти всегда последним, бежал домой, словно за мной по пятам кто-то гнался. С наступлением темноты бабушка обычно всходила на Яссикир и поджидала меня там.

## Глава третья

Наступила осень. В школе начались занятия. И вот однажды вечно наполненный всяческими слухами Раджаб-коротышка принес невеселую весть: охотник Гаф-

---

\* Чарыки — грубая обувь из сыромятной кожи.

фар отправился в горы пострелять сайгаков и сорвался с вершины Учкул. Лишь два дня спустя люди обнаружили его бездыханное тело у подножия вершины...

В тот день я, конечно, вернулся из школы расстроенный и рассказал обо всем бабушке. Она сходила в дом к Гаффару-охотнику, где собрались люди читать заупокойную молитву. Бабушка вернулась к вечеру и принялась готовить ужин. А я отправился встречать корову и коз, которых пригнали с пастбища пастухи.

На Ойкоре в нескольких местах мерцали костры. Их далеко было видно. Вершины гор постепенно темнели, а костры становились все ярче и ярче.

Я загнал скотину во двор, а сам поднялся на Ясси-кир и все смотрел на ночные костры...

Вечером при тусклом свете керосиновой лампы бабушка пряла, а я готовил уроки. Вдруг калитка со скрипом отворилась. Мы с бабушкой вздрогнули.

— Кто там? — громко спросила бабушка и обернулась ко мне: — Ты разве не закрыл дверь на цепочку?

— Я это, Суюнбай! — донесся со двора знакомый голос.

— Тебе что, постучать трудно? Бродишь по ночам, будто привидение! — отчитала его бабушка.

Когда он приблизился к лампе, в глаза мне опять первым делом бросились его большущие оттопыренные уши с красными прожилками; приплюснутый нос побелел, будто с мороза, а толстые губы потрескались, словно он три дня не пил воды. Мной овладело непонятное волнение. Я смотрел в книжку, буквы плясали перед глазами, принимая обличья то Суюнбая, то Гаффара-охотника.

— Вымер кишлак, вымер. Прошелся вдоль всей улицы — и ни одного человека не встретил, — проговорил Суюнбай, присаживаясь на край сури. — Ну прямо как во время войны. Или мор прошел будто бы...

— Типун тебе на язык! Можешь ли ты хоть раз произнести теплые человеческие слова? — рассердилась бабушка.

— Э-э, тетя, откуда мне взять такие слова? Меня им не обучали. В школу мы не ходили, книг не читали.

— В старые времена никто не учился, а все были в здравом уме.

— Зачем читаете мне нравоучения? Каким уродился, таким и помру. Никому до меня дела нет, и у меня ни о ком голова не болит. Родители мои померли, так и не

дождавшись от меня радости, вот и дети мои не почитают меня, обыкновенного надгробия мне, должно быть, не поставят. Только об одном все думаю: помру ли я своей смертью, как человек, тихо, мирно?..

— Скажи на милость! А коль думаешь об этом, детей своих и жену беззащитную не обижай! Хоронить тебя им! Человек что сеет, то и жнет. Ты вон седой уж. Ежели бороду отпустишь, за год до пояса вырастет. Чалму не носишь, так хоть бельбагом\* голову обвяжи, молитвы аллаху вознеси, на людях чаще бывай. Глядишь, и станешь правоверным мусульманином. Во чреве матери никто умным не бывает. Иной раз такие, как ты, лишь к старости праведниками становятся.

— Ведь вы меня знаете, тетя. Если меня никто не трогает, на нервы не действует, мне и ладно.

— Черти в тебе гнездо свили, вот что я тебе скажу! Будешь измываться над семьей — заплатишься. Аллах накажет.

— Сказать по правде, вы тоже странный человек, тетя,— усмехнулся Лопоухий, качая головой.— Испугать меня, что ли, хотите? Я и смерти не боюсь! А что на свете страшней?.. Не Гаффару-охотнику, а мне бы в пропасть сорваться! Ведь все живое в горах терпело от меня всякое зло... Быть мне наказанным когда-нибудь. Вот Гаффар-охотник... тоже стрелял ведь все подряд. А нынче, сказывают, ему кто-то правый бок отгрыз...

— Знать, сочтены были дни его, бедняги, сегодня схоронили,— сказала бабушка, не отрываясь от работы.

— Я спускался с гор и повстречал похоронную процессию. Пришлось присоединиться... Самое скверное, тетя, что похоронили его с согнутыми ногами. А что вы хотите, если тело пролежало в горах несколько дней? По поверью же, человек, похороненный с согнутыми ногами, призывает за собой другого. Наверное, мой черед наступил...

— И впрямь нехорошо получилось. А верно ли, что ноги у него остались согнутыми? Ты это своими глазами видел?

— Да могу ли я лгать в такую светлую лунную ночь? Все видели: из гроба торчали его колени. Поэтому-то многие вернулись, не дойдя до кладбища. Лишь несколько родственников и несли носилки с гробом.

---

\* Бельбаг — поясной платок, кушак.

Я дошел только до дома Отаджана-бобо... Интересно, кого же он первым позовет к себе, а? Может, правда меня?

— Не каркал бы ты! — рассердилась бабушка.— Ангел и плохому и хорошему слову может сказать «аминь». Тот, кто искренне замаливает грехи, и после светопреставления останется живым-здоровым.

— Вы правы, тетя. Если даже сорок лет будет резня, умрет лишь тот, кому суждено... А все-таки следовало, прежде чем похоронить, ноги ему выпрямить,— пробормотал Суюнбай.

— Твоя правда... Не начались бы в нашем кишлаке ссоры. Стоит теперь умереть кому, родственники покойного станут цепляться к родственникам Гаффара...

— И сейчас еще не поздно, надо вскрыть могилу и выпрямить ноги ему, будь он неладен.

— Да кто ж за такое возьмется? Сердце каменное надо иметь для такого дела.

— А ежели дать сотню рублей могильщику Бектуре и обмывальщику Сувону, так они не только могилу вскроют — кладбище перепахать не откажутся.

Бабушка промолчала. Я сидел ни жив ни мертв. Бабушка, видимо, заметила, что я побледнел от страха, стала выпроваживать Суюнбая:

— Поздно уже. Шел бы ты домой, Суюнбай.

Суюнбай молча поднялся и направился к двери. Когда калитка за ним захлопнулась, бабушка проворчала:

— Ни разу не пришел поговорить по-человечески, чтоб пусто ему было!

Я лег в постель, расстеленную на сури. Бабушка, все еще бормоча что-то себе под нос, пряла. Я долго не мог заснуть. Едва закрываю глаза, на меня надвигаются покачивающиеся носилки с гробом и выглядывающий из-за них Суюнбай.

Наконец улеглась и бабушка и погасила лампу.

— Бабушка, пусть Суюнбай больше к нам не приходит!

— Почему, сынок?

— Он плохой человек! Никого он не любит. Даже вас не любит. Заргуль-мома говорит, что он приносит одни несчастья...

— Заргуль-мома верно сказала! Бедняга Суюнбай что-то больно забеспокоился, все о смерти да о смерти... Видать, долго не протянет... Ладно, пусть уж в конце жизни своей не обижается на нас... А ежели при-

дет к нам, а тебе не захочется его видеть, можешь пойти к Наркулу.

— Почему вы так думаете, бабушка? Он вон какой здоровый...— сказал я.

— Когда смерть подкрадывается к человеку, его охватывает беспокойство.

— Значит, Суюнбай скоро умрет?

— Ой, что это я? Господи, прости рабу свою!

В этот момент и бабушка показалась мне какой-то странной. Не знаю, как я и уснул в ту ночь. А когда проснулся, бабушка уже доила козу.

Я умылся и погнал коз в стадо.

После того разговора Суюнбай еще дважды заходил к нам.

Как-то раз, заигравшись с ребятами до темноты на Уртакире, я спешил домой и лицом к лицу столкнулся с ним, когда он выходил из нашей комнатки.

— Гм-м-м,— произнес он, скользнув по мне холодным взглядом.

Я юркнул в дом. А он стал медленно подниматься на Яссикир.

В те дни по кишлаку прошел слух, будто кто-то вскрыл могилу охотника Гаффара. Как только я вошел во двор, то услышал, как бабушка кляла Суюнбая на чем свет стоит:

— Ну, помер кто-то, тебе-то что за дело? Что я, бог, что ли, людям приказывать, дескать, вскройте могилу Гаффара. Э-э, чтоб этот Гаффар позвал тебя к себе!..

Я понял, что они опять говорили об охотнике Гаффаре. Бабушка была так взволнована, что я не стал ни о чем ее спрашивать, чтобы не добавлять масла в огонь. Тихонько пошел и лег на сури под карагачем. Небо было усыпано звездами... Смотрел я на них, смотрел, и внезапно перед глазами возникла бескрайняя степь, белые от хлопка, словно снегом покрытые, поля и плывущие по ним голубые хлопкоуборочные машины. И маму увидел, и папу, и сестренку... Видение было настолько ясным, что от тоски у меня сжалось сердце, на глаза навернулись слезы. Мне очень, и поскорее, захотелось в степь. Папа обещал скоро приехать, но почему-то все не едет и не едет.

В последнее время и бабушка стала частенько расхваливать степь. Говорила, что люди, наработавшись там вдоволь, станут здоровыми и сильными. Говорила,

что все самые трудолюбивые люди нашего кишлака переехали в степь...

Спустя два дня Суюнбай опять зашел к нам. Мы с бабушкой как раз вязали гибкими стеблями мяты снопы скошенного клевера. Он взглянул в мою сторону, но я не поднял головы. Бабушка как-то сказала, что глаза его жалят человека. Странно, разве могут глаза жалить?..

Бабушка бросила работу, пошла ему навстречу — как-никак гость. Я не знаю, о чем он говорил с бабушкой. В этот раз пробыл у нас недолго. Стоял посреди двора, сжимая в руке посох и уставившись в пространство, а бабушка что-то с чувством растолковывала ему. Когда он выходил со двора, я заметил, что рукавом он вытирал слезы. И мне невольно стало жаль его. Отчего, я и сам не знаю...

...Известие это я воспринял почти равнодушно. Как только сын Суюнбая, вылитый отец, такой же лопоухий, плача, вошел во двор, я сразу все понял... Кто-то убил его отца на Джидалинском пастбище. Об этом только что сообщили люди из Джарбулака, которые собирали хворост неподалеку.

Однако бабушку эта весть ошеломила.

— Ай, бедняга, ай, бедняга! Помер-таки, не дожив до старости! — причитала бабушка со слезами на глазах, в спешке кутаясь в большой ситцевый платок.

Она отослала меня к нашему соседу Бахраму-бобо. Услышав этакую новость, Бахрам-бобо вместе с двумя оказавшимися у него гостями пришли к нам. Поручив что-то Бахраму-бобо, бабушка взяла сына Суюнбая за руку, и они отправились к ним домой.

— Никуда из дому не отлучайся,— наказала она мне, уже выходя из калитки.

Я кивнул, хотя знал, что вряд ли это удастся.

Бахрам-бобо и его гости, позвав с собой еще несколько человек, пошли на Джидалинское пастбище. Ноги сами понесли меня вслед за ними. По дороге ко мне присоединился и сын Бахрама-бобо, Наркул, смуглолицый крепыш, озорник, каких свет не видывал. Следуя по пятам за мужчинами, мы приблизились к горам.

К Джидалинскому пастбищу примыкало пшеничное поле. Мы увидели отару, которая разбрелась во все сто-

роны. А сидевший на осле пастух гнал отару почему-то в глубь пшеничного поля.

— Чья бы это могла быть отара, а? И почему она пасется на пшеничном поле? — спросил Наркул.

Я пожал плечами.

— Наверное, это отара Суюнбая! — еле слышно вымолвил он.

Подойдя к отаре поближе, люди застыли от ужаса. На осле, с зажатым в руке посохом и раззявленным ртом, сидел Суюнбай. Приученный к отаре осел сам следовал за встревоженными овцами, а Суюнбай был накрепко приторочен к седлу и, по всему, находился в таком положении уже несколько дней.

Мы с Наркулом, схоронившись в высокой пшенице, затаив дыхание, следили за происходящим. Не зная, что делать, люди некоторое время стояли в замешательстве.

— Ну что теперь поделаешь? Раз так случилось, надо везти его домой. Сегодня же надо хоронить, — сказал Бахрам-бобо.

— Следует положить его ничком на осла и накрыть чекменем\*, — заметил пастух Мамарахим.

Мы продолжали лежать в траве до тех пор, пока Суюнбая не увезли. Пастух Мамарахим отогнал отару с пшеничного поля на выпас.

В кишлаке воцарилась гнетущая тишина. Никто не плакал. Всего несколько человек собралось на заупокойную молитву. Никто даже не завел разговора, кто и за что убил Суюнбая.

Несмотря на бабушкины хлопоты, обмывальщик отказывался обмывать покойника, а могильщик — копать могилу. Насилу уговорили их аксакалы. Я, Пардабай и Раджаб, взобравшись на крышу дома Заргуль-момы, следили за происходящим.

Когда носилки с гробом подняли и понесли, я вспомнил рассказ Суюнбая о том, как хоронили охотника Гаффара. Немногие пошли на кладбище. А мы, взобравшись на вершину холма Дуньятепе, наблюдали за похоронной процессией. Обычно болтающий без умолку Раджаб-коротышка на этот раз сидел тихо, а Пардабай со вздохами жалобно поглядывал на меня.

— Когда люди прочитают заупокойную молитву и отойдут от могилы на семь шагов, к нему подойдут

---

\* Чекмень — верхняя одежда типа кафтана.



Мункар с Накаром\*, — прошептал Раджаб испуганным голосом.

Мы с Пардабаем от страха и слова не могли вымолвить. Я невольно представил себе встречу Суюнбая с Мункаром и Накаром...

Вот Мункар с Накаром, огромного роста, с отросшими ногтями, покрытыми шерстью лицами, входят в могилу и, увидев Суюнбая, на мгновение замирают от изумления. Миллионы людей спровадили они и в рай, и в ад, но никогда еще не видели столь неприглядно умершего человека. Они оживляют Суюнбая заклинаниями. Согнутые ноги его с хрустом распрямляются.

— Встань, презренный раб! — велит Мункар.

— Что вам от меня нужно? — возмущается Суюнбай.

— При появлении Мункара и Накара все встают с места! — гневно говорит Накар.

— На земле меня не обучали, как встречать Мункара с Накаром! Или имеется такая школа? — цедит сквозь зубы Суюнбай, выходя из себя.

— Следуй за нами, место твое в аду! — приказывают Мункар с Накаром в один голос.

— Хотите напугать меня? Я за вами не пойду! Погибшим за веру не место в аду!

— Это тебя-то за веру убили?! Ха-ха-ха... Тебя наказал Азраил за грехи твои! Будешь продолжать гневить нас, разорвем тебя на куски!

— Не Азраил — люди убили меня, — пробормотал растерявшийся Суюнбай.

— Людей тех послал Азраил!

— Попался бы он мне в руки!

— Ого! Судя по словам твоим, ты и в самом деле жестокосердный! Нам это нравится. А что, если нам договориться? Сделаешь, что мы тебе велим — в долгу не останемся.

— Выкладывайте! Что у вас?

— Так вот, слушай. Погубивший тебя Азраил — и наш враг. Мы хотим отомстить ему, но душа Азраила покоится под тронем самого всевышнего. Когда вступишь в молельню, в нише, что справа, лежит его душа, а слева — наши. Гляди не спутай. Душу Азраила надо украсть и расчленить на кусочки. А на место Азраила мы назначим своего человека.

---

\* Мункар и Накар — имена двух ангелов, якобы подвергающих допросу покойников в могиле.

— Сможете ли вы после этого вернуть меня на землю хоть на денек! Посчитаюсь с теми, кто убил меня, и вернусь!

— Сперва покончи с Азраилом,— говорят Мункар с Накаром, опасаясь, как бы Суюнбай не обвел их вокруг пальца...

...Дрожь пробежала по моему телу, и я очнулся. Оказывается, я так устал, что уснул там, где сидел. Видимо, я побледнел от страха: Раджаб и Пардабай с удивлением уставились на меня.

Люди предали Суюнбая земле и уже возвращались с кладбища. Мы тоже вернулись в кишлак. Мне казалось, Суюнбай воскреснет через пару дней.

Когда я пришел домой, бабушки еще не было. С поминок она вернулась лишь вечером, когда пастухи пригнали стадо. Она принесла в узелке лепешку, сахару и холодного мяса.

— Ах, чтоб твоей бабке пусто было! Ты, наверное, проголодался? Вон бледный какой,— сказала она, хлопывая меня по спине.

...С того дня мы с бабушкой больше о Суюнбае не разговаривали. Бабушка частенько навещала его детей, а иногда посылала меня к ним с ведром персиков или винограда. Прежде я совсем не бывал у них. Теперь жалел этих кое-как одетых сирот. Мне хотелось сделать для них что-нибудь хорошее. А что я мог, кроме как исполнять бабушкины поручения? Но верил, что, когда вырасту, обязательно буду помогать им.

Жена Суюнбая Энай никуда не ходила и никому не жаловалась. Даже не заявила, что ее мужа убили. Приходили из милиции, что-то записали и ушли. После этого пересуды о смерти Суюнбая и вовсе прекратились в кишлаке.

Но вот из Педжикента приехал младший брат Суюнбая Исрофил, похожий на него как две капли воды, тоже пастух. И стал Исрофил дознаваться, кто убил брата. Как только приехал, сразу набросился на невестку, обвиняя ее, будто это она подсыпала яду мужу, а на другой день грозился отдать под суд совхозного сторожа Асадуллу Карлика. Затем он стал строчить в милицию обвинения на каждого, кто был ему не по душе в нашем кишлаке.

И разразился в кишлаке по делу Суюнбая Лопухого настоящий скандал. Не было человека, которого бы не вызывали в районную милицию. Запыхавшись,

кляня на чем свет стоит Исрофила, бабушка тоже два раза пешком ходила туда для дачи показаний.

...А однажды прибежали ко мне Раджаб с Пардабаем и говорят, что ходят слухи, будто врачи собираются вскрыть могилу Суюнбая. Вроде узнать хотят, как да отчего помер он...

— Пошли посмотрим. Мать моя говорит, что Суюнбай пребывает в аду. Только, по-моему, если б и взаправду существовал ад, то он бы давным-давно должен был туда отправиться. Я и говорю матери — мол, ни ада, нирая никакого нет, нам учителька говорила. А она мне — подзатыльник, — скороговоркой выпалил Раджаб-коротышка.

— Нас туда близко не подпустят, — сказал я. По правде говоря, не было у меня ни малейшего желания наблюдать за этим печальным мероприятием.

— А мы придем туда до приезда докторов и спрячемся где-нибудь.

Пардабай поддержал его. Когда мы играли с ребятами в прятки, то часто прятались на кладбище в старых пустых могилах: место удобное, и тот, кто ищет, не всегда осмелится пойти туда в одиночку. Чтоб не отстать от друзей, я согласился. Я отвел корову и коз в стадо, и мы отправились на кладбище. Шли вдоль Кошачьего оврага, получившего свое название оттого, что в нем нашли себе приют дикие кошки. Для того, чтоб на кладбище не заходил скот, оно было обнесено изгородью из колючек. С одной стороны к нему вплотную подступал Кошачий овраг, а с другой — скошенное пшеничное поле. Несколько одичалых собак, рыскавших по кладбищу, завидев нас, кинулись в овраг и скрылись в густых зарослях.

Поджидая приезда врачей, мы взобрались на небольшой холмик. Когда солнце поднялось из-за Ойкора и повисло над вершиной Заманара, к кладбищу со стороны кишлака Барлос подъехала зеленоватая машина с красным крестом на дверце кабины.

Мы мигом скатились с холма и спрятались во рву. Из машины вышли трое в белых халатах, два милиционера, Исрофил и еще какой-то человек в сером костюме. Все, кроме Исрофила, надели противогазы. Затем и Исрофил пошел к машине и вернулся с противогазом. Мы лежали, прижавшись к земле, затаив дыхание.

Наконец они принялись вскрывать могилу. Исрофил,

видимо, расплакался и, сдернув рукой противогаз, вытер глаза.

— Бежим отсюда, не то помрем,— взмолился Пардабай, чуть не плача.

Первым рванул Раджаб, одетый в белую бязевую рубаху и такие же штаны. Мы — за ним. Кто-то из людей, столпившихся у могилы, заметил нас и поднял крик.

Мы пересекли Кошачий овраг и, не оглядываясь, бежали до холма Дуньятепе. Поднявшись на его макушку, без сил упали на траву и опять принялись наблюдать за кладбищем. Исрофил с каким-то человеком уже сбрасывали землю в могилу, остальные столпились у машины...

Мы отправились по домам. Едва я переступил порог, бабушка стала говорить, что напрасно мы не поехали в степь.

— Как только приедет твой отец, чтобы нас проведать, и мы с ним в степь поедем. Только там, где люди от безделья маются, такие неслыханные дела творятся, как у нас. Вот степь — дело другое: работой всласть, отдыхай всласть, а что еще надо? — говорила бабушка, завязывая большой узел; как видно, она уже собрала вещи, которые готовилась взять с собой. Однако, поразмыслив, после паузы добавила: — Однако помни, сынок, скажи своему отцу: ежели вдруг я помру, пусть непременно схоронит меня на нашем кладбище!..

...А в это время на Ойкор падал первый снег. Черневший на фоне гор кишлак наш тоже побелел: белый чистый снег как бы слил его с нашим любимым Ойкором... Снежные вершины сверкали на солнце, осыпая светом изумрудные долины, те, что пониже, а с подножия их прохладный ветерок разносил запахи влажных диких трав...